

высокопарностью оппонента (8, 352). Даже умирающий, с трудом вырываясь «из-под бремени давившего его забытья», он, в ответ на «необычное воззвание» отца: «Евгений! <...> сын мой, дорогой мой, милый сын», — отвечает в тон: «Что, мой отец?» (8, 392), привычно пародируя нарочитую торжественность отцовской речи и тем давая понять, что верен себе и, значит, еще борется. Говоря же с Аркадием об отце, Базаров, напротив, перенастраивает собственную речь под архаичный отцовский лад: «...отец никак не ожидал, что я об этом, как говорится, известен стал» (8, 332). А в момент прощания с Аркадием высказывается по праву старшего снисходительно, вставляя в речь явно отцовское словечко: «Я ждал от тебя совсем другой дирекции» (8, 380).

Нет сомнения, что все эти стилистические вариации рождаются не спонтанно, а совершенно сознательно. Базаров неоднократно демонстрирует предметную, целенаправленную чуткость к слову. Когда Одинцова проявляет интерес к его планам, к тому, что в нем «теперь происходит», он в употребленном ею слове обнажает прямой и неожиданно неуместный относительно отдельного человека смысл: «Происходит! Точно я государство какое или общество! Во всяком случае, это вовсе не любопытно; и притом разве человек всегда может громко сказать все, что в нем „происходит“?» (8, 298). На ее же размышление о якобы влюбленном в нее Аркадии — «В этом молодом и свежем чувстве есть какая-то прелесть...» — он опять-таки реагирует «стилистически», пряча свою обиду и раздражение за замечанием по поводу формы высказывания: «Слово *обаяние* употребительнее в подобных случаях, — перебил Базаров; кипение желчи слышалось в его спокойном, но глухом голосе» (8, 377).

Так же внимателен он и к сторонним, случайно долетевшим до него словам. На подъезде к отцовскому дому Базаров слышит разговор мужиков, который тотчас — в пору лингвисту-психологу — замечательно комментирует:

«„Большая ты свинья, — говорил один другому, — а хуже малого поросенка”. — „А твоя жена колдунья”, — возражал другой.

— По непринужденности обращения, — заметил Аркадию Базаров, — и по игривости оборотов речи ты можешь судить, что мужики у моего отца не очень притеснены» (8, 307).

И прощальная поэтическая базаровская фраза: «Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...» (8, 396) — вовсе не означает кардинальной предсмертной перемены в душевном состоянии героя, а очень органично вплетается в богатый, многокрасочный рисунок его речи.

Человек, лишенный эстетического чутья, не может так остро слышать слово, так артистично обыгрывать и парировать его, демонстрируя при этом стилистическую изощренность, лексическую тонкость и точность, богатство и разнообразие интонаций. Отношения с эстетическими явлениями у Базарова гораздо сложнее, чем он это сам декларирует. Очень убедительно выглядит предположение Н. Страхова о том, что Базаров демонстративно чужд художеству не по причине невменяемости и равнодушия, а, напротив, потому, что острее других чувствует его смягчающую, *примиряющую* и потому враждебную целеустремленному деятелю силу.¹⁴

У Раскольникова тоже непростые отношения с «эстетикой», но совершенно по другой причине. Ему кажется, что все отличие его преступления от злодеяний *законодателей человечества*, на которых он равняется, только в некрасивости, немасштабности: «Наполеон, пирамиды, Ватерлоо — и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною ук-

¹⁴ Страхов Н. Н. Литературная критика. СПб., 2000. С. 193.